П.А. Ольхов*

РЕЧЬ И ПАМЯТЬ: СТРАТЕГИИ И РИСКИ
НАРРАТИВНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИИ**

В статье представлены результаты исследования этико-онтологических условий возможности исторического знания – исторического нарратива как формы служения общей памяти, особенно интенсивного на изломе познавательных и – шире – жизненных традиций. Автор полагает, что история, являясь всегда вновь высказанным или рассказанным воспоминанием о прошлом событии, сама событийна, возникает как отношение нарративной реконструкции и исторической памяти. Вопрос о стратегиях нарративной реконструкции связан с пониманием ее эпистемологических рисков (неверифицируемой субстанциальности, констеллятивности отдельных коммуникативно-прагматических состояний и стилей познавательного общения и др.) и герменевтического горизонта исторической памяти. Историческое понимание, которое образует онтологическую доминанту нарративной реконструкции, как показывает исследование, предполагает добротную речевую личность историка, вырабатывающего новые нарративные формы возобновления исторической памяти.

Ключевые слова: историческая эпистемология, исторический нарратив, реконструкция истории, речь, память, нравственный выбор

Speech and memory: strategies and risks of narrative history reconstruction.
PAVEL A. OLKHOV (Belgorod National Research University)

The article studies the ethical and ontological conditions of the possibility of historical narrative as a form of service to the common memory, especially intense at the break of cognitive and life traditions. The author states that history, always being a newly articulated memory of a past event, is eventual in itself, arising as a relation of narrative reconstruction and historical memory. The issue of the narrative reconstruction strategies is connected with the understanding of its epistemological risks and the hermeneutical horizons of historical memory. The article shows that historical understanding, which forms an ontological dominant of narrative reconstruction, implies a good language capacity of a historian to develop new narrative forms for the renewal of historical memory.

Keywords: historical epistemology, historical narrative, reconstruction of history, speech, memory, moral choice

* ОЛЬХОВ Павел Анатольевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии и теологии Института общественных наук и массовых коммуникаций Белгородского государственного национального исследовательского университета.

E-mail: olkhov@bsu.edu.ru

© Ольхов П.А., 2018

** Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ. Проект № 18-011-01252.

Историк – это врач памяти.
О. Розеншток-Хюсси [11, с. 563]

Исторический нарратив – повествование-письмо, восстанавливаемая до некоторой полноты речевой фактичности память о том, что произошло в прошлом и было замечено, засвидетельствовано участниками этого происшествия и вновь представлено автором повествования-письма. Если оставить в стороне мотивы эпистемологического выживания, которые как будто вынуждают смириться перед нарративом как некоей неизбежно нечистой, субъектно центрированной познавательной реальностью в эпоху краха исторических эпистемологий, когда «нельзя предложить никакой *приемлемой* теории» [11, с. 8], исторический нарратив может быть понят как вполне конкретная форма *служения общей памяти* (особенно интенсивного на изломе жизненных традиций, когда память утрачивает единство, рассеивается (см., напр.: [11, с. 91–132; 12]; ср.: [12, с. 557–573] и др.). Писать, высказываться о прошлом в рамках некоей новой речевой связности никогда не означало возможность чистой репродукции прошлого из того, что вспоминается о нем.

Связность исторического нарратива можно представить как превращенную, риторическую форму его субъектности; но чаще и прежде всего в истории исторического нарратива эта связность давала себя знать этически, как некая решимость историка трактовать и представлять памятное в его насущной жизненности. Даже тогда, когда историческая наука пыталась идти в такт классическому естествознанию, соблюдать интерсубъективную размерность и «понимаемость» естественнонаучного письма, отвергавшего «темные дали и загадочные глубины» [9, с. 62], – рассказывать историю такой, какой она была в действительности [2, р. IV], эти попытки и эти рассказы консолидировали стремление историков соблюдать гармонию жизненных традиций и полноту исторической памяти через ее нравственное узаконение, этико-онтологические оговорки. Эти оговорки, разрушающие декларируемую нейтральность научно ориентированного исторического повествования-письма, особенно хорошо заметны у историков, принадлежавших XIX в., «золотому» столетию исторического нарратива, оцельняющего память. Таков патриарх немецкой историографии Л. Ранке, стремившийся услышать «напевы истории» или называющий свои труды «рапсодиями», полагая, что «совокупность христианских народов Европы должно рассматри-

вать как нечто целое, как единое государство» [13, с. 77], (ср. [13, с. 6–8, 88, 90, 188–192 и др.; 21, с. 67]). Таков Ф. де Куланж, о нравственном пристрастии которого к коллективной, «народной» памяти известно ничуть не менее его критической страсти по отношению к документам истории, выравниваемым в речевом целом его собственного нарратива [1, р. 1–16, 133, 161]. Этически императивна сама установка исторического нарратива – писать *sine ira et studio*, «энтимологически», как об этом с индизнавательной яркостью пишет И. Тэн. Возражая нравственно мятежным нарративам Т. Карлейля, Тэн утверждает, что Карлейль «сливает все направления, мешает все формы... и языческие воззрения, и выдержки из Библии, немецкие абстракции и технические выражения, поэзию и воровской язык, математику и психологию, вышедшие из употребления слова и неологизмы» [17, с. 168] (ср.: [18]).

Риски нарративной реконструкции – вплоть до угрозы утраты единства истории как некоторой неverifiedируемой субстанциальности в мышлении, или представление об этом единстве как некоторой совокупности отдельных коммуникативно-прагматических состояний и стилей познавательного общения, – вопрос вполне ясный, всесторонне разобранный с позиций эпистемологической искренности. Но именно в этом своем качестве он принимает *этико-онтологический вид* – становится вопросом о *доверии к речевой фактичности* исторического нарратива. То, что речевая пластика исторических повествований не бесцельна и имеет свои жизненные смыслы, – отнюдь не новость. Уже Фукидидовская «риторика – это не только украшения. Она представляет собой великое открытие Фукидида. Весь наш современный научный аппарат – не что иное, как эволюция его речей» [15, с. 562]. Новостью становится, пожалуй, возможность исследования познавательных ресурсов речевой пластики – различение исторического нарратива в его диалогически-хоровой (как мог бы сказать М.М. Бахтин) незавершенности и предназначенности, нравственно существенной неподрастечности оснований исторического повествования-письма и соединяющейся в нем памяти о насущном.

История, являясь всегда вновь высказанным или рассказанным воспоминанием о прошлом событии, как нарратив сама событийна – в меру речевой обращенности к этому прошлому, которое возникает перед ним как некоторое открытое целое речевых же свидетельств. Но пола-

гать историю как некое нарративное *целое* есть риск – не столько эпистемологический (эпистемологически, нарративность истории можно релятивизовать, взять в некие культурологические скобки), сколько экзистенциальный, – риск довериться этому целому в онтологическом моменте его признания или, негативно, решительной его «критики». Но даже «приемы исторической критики, порою кажущиеся наивному уму чем-то неумолимо логичным, на деле так же основаны на вере, как и убеждения верующего сердца. В сущности, не приемы различны, – они одинаковы, ибо одинаково устройство ума человеческого, – а различны веры, лежащие в основе тех и других... И согласно вере своей, каждый говорит...» [19, с. 551] (ср.: [10, с. 139–140]).

Исторический нарратив нельзя свести к некоей когнитивной вере; менее всего – к утверждению о теологической церемониальности исторического письма. Церемониальность вполне может обесмыслить нарратив как практику речевого служения, превратить его в квазицерковное самоповествование, безразличное к своей собственно нарративной содержательности. Между тем, прибегать к нарративу с экзистенциальной безоглядностью, пренебрегая исследованием его предельных условий, означало бы умаление его реконструктивных возможностей – до поверхностно коммуникативных, не затрагивающих его смысловой жизненности. В каждой новой нарративной реконструкции историк может обнаружить не только условие когнитивной веры, но и недоволощенную истинность реконструируемого исторического события, – оспаривает подлинность исторических документов, распределяя их в некоем этическом горизонте правды их пересказа, подразумевая под правдой «не логическую мысль, мысль строгую, бесстрастную, безмятежную, но и безнадёжную», «а нравственное чувство, то чувство, благодаря которому каждый из нас радуется чужой радостью, скорбит чужой печалью, то чувство, благодаря которому он не только рассматривает свою жизнь как субъективное патологическое явление, не только возвышается до объективного ее изучения, но ею участвует и в окружающей его жизни... если мы взглянем на себя, как на участников в мировой жизни, не человеческой только, но именно мировой, – тогда получим значение и станем на свое место. А между тем, занять такое место человек может лишь тогда, когда станет служителем начала добра и правды, когда подчинится взаимодействию этих начал» [8, с. 64–65].

Доверие к историческому нарративу, поставленному на службу памяти, вполне опасно. Эпистемологическая критика несовершенства памяти – ради служения ей – есть технический момент исторического нарратива, который стремится преодолеть, положительно изжить как распад памяти, так и незабываемое в ней. Ошибка думать, будто укрепление памяти, всего вспоминаемого, вплоть до обращения к разного рода клиометрическим процедурам радикально улучшает нарративную реконструкцию истории или становится ее основным, недостижимым горизонтом [16]. Память без забвения обременяет историю ничуть не менее, нежели эпистемологически обуженный нарратив, целью которого становится приумножение памяти (ее восполнение и реконструкция до некоторой предполагаемой полноты, которая между тем остается только его техническим условием), или же сопротивление памяти, ее перерождение в новую реальность повествования-письма, в которой историческое понимание как будто начинается заново (как в известном случае О. Шпенглера, автора «истории без памяти» [15, с. 564; 14, с. 97; 4, с. 51]).

Уяснение условий возможности служения исторической памяти требует иного – понимания того *нравственного выбора*, который был сделан историком, вырабатывающим новые нарративные формы ее возобновления. От этого выбора зависит, будет ли историк стремиться к антикваризации истории, *конструированию* нарративов – новых схем и сюжетов исследовательско-исторических повествований, продумывая логику нарративной репрезентации и т. п., или же квалифицирует эти стремления как процедурные, как некоторую необходимую составляющую исторической *реконструкции*, которая никак не исчерпывает ни замысла, ни предметных перспектив исторического исследования. История начинается там, где принимается решение о мере участия историка в предмете своего познавательного интереса. Историческая память нарративно воссоединяется тогда, когда происходит избрание позиции исследовательского ответа по отношению к речевой реальности памяти, когда соблюдение принципа *sine ira et studio*, познавательной беспристрастности («исчисляемой» или критически верифицируемой), – оказывается отнюдь не самым трудным.

Вера в эпистемологическое и шире – образовательное достоинство нарратива, не ограничиваемая нравственным выбором, – довольно

распространенное явление. Она провоцирует нравственный инфантилизм – доверие к учебникам («все диктаторы сейчас специально занимаются массовым изданием учебников» [15, с. 558]), вменение нарратива с нравственно-онтологическими смыслами, дидактически предписываемыми исторической памяти, которая тем самым оказывается на службе у нарратива; соединяющая речевая сила нарратива по отношению к памяти становится мнимой и т. д. Память в этом случае парализуется предрассудками, деградирует и становится все безразличнее к затруднениям новейшей историографии, эпистемологически сводящей жизненную силу нарратива к некоторой познавательной индивидуальности его автора. Когда-то в «золотом» девятнадцатом столетии историки «фактически были политическими вождями своего общества», представляли собою «и память и совесть своей общности» [15, с. 559]. Вера в исключительно эпистемологическую возможность нарратива привела их к характерному социальному безмолвию и беспамятству. «Историк больше не знаменосец лучших традиций нации или церкви. Он стал теперь всего лишь ученым» [15, с. 560].

Актуальная нарративная историография совершает, как представляется, этико-онтологический поворот, восполняющий ее эпистемологическое достоинство: от различных дилемм объективации субъектно центрированного исторического исследования (включая «старый вопрос, поставленный вновь» – о существовании морального прогресса истории [12, с. 650]) к проблеме точного исторического свидетельства, в котором основным условием исторической достоверности будет добротная речевая личность самого историка, не изобретающего имена или категории истории, но готового к заботе о них. Историческое письмо-повествование очень мало нуждается в отстаивании своей «научности» при помощи «стерильной теоретико-познавательной проблематики» [6, с. 116], или точнее – в производстве новых «метаномических» догм и схем, которые становятся – в ситуации неизмеримости онтологического, его несводимости к новым именам и генерализациям истории, «якобинским схемам» «общественного прогресса и самостоятельного человека» [15, с. 565] – скорее хранителями исторической памяти, нежели непререкаемыми условиями жизненности исторического нарратива. Их выбор, разумеется, не случаен; это не выбор, который делается на рынке политических идеологий, из неких незамысловатых соображений

коммерческой выгоды; их избирают, скорее, как неких новых ответственных спутников исторического нарратива, новых хранителей исторической памяти [15, с. 566]) – из отчетливого понимания того, что историческое нарратив в силу его речевой определенности предполагает активное и деятельное, предельно личное участие историка в повествовании-письме.

Для исторической памяти нет ничего ценнее «поступающего мышления» [4, с. 54], «поступка-слова» [3, с. 145] историка, который не отрешается от себя и не жертвует безмерно своей личностью, но в меру своей историчности, событийного присутствия в истории исторического познания исполняет свою миссию в речевой «действительности познания и поступка» [5, с. 283, 289] – ответственно присутствует в истории как реальности ненаивного, обращенного и обращаемого слова исторического свидетельства. В этом свидетельстве сказывается не только эпистемологическая определенность или категориальная заданность, но и онтологическая ответственность исторического мышления, которое не только и не столько схематично, сколько единственно в своей ответной, незавершимо сплывающей память речевой полноте. Исторический нарратив не предназначен к эпистемологическому замещению речевой текучести памяти; его собственная определенность избегает срывов в дидактику и врачует память (ср.: [15, с. 563]), дает возможность не только вспомнить нечто прошлое, но и опомниться посреди воспоминаемого «архива эпохи» [20], противостоять неподрасчетной тирании памяти и забвения, их жизненным избыткам, или, иначе, онтологически вспомнить себя. Онтологическая реальность исторического нарратива заметным образом дает себя знать как познавательная, «метаномическая» этика истории – служебное и ответственное по отношению к исторической памяти нравственное действие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Coulanges, F. de., 1893. Questions historiques. Paris: C. Jullian.
2. Ranke, L., 1824. Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber: eine Beylage zu desselben romanischen und germanischen Geschichten. Leipzig; Berlin.
3. Бахтин М.М. <Автор и герой в эстетической деятельности> // Собрание сочинений. Т. 1. М.: Изд-во «Русские словари», 2003. С. 69–264.
4. Бахтин М.М. <К философии поступка> // Собрание сочинений. Т. 1. М.: Изд-во «Русские словари», 2003. С. 7–68.

5. Бахтин М.М. К вопросам методологии эстетики словесного творчества // Собрание сочинений. Т. 1. М.: Изд-во «Русские словари», 2003. С. 265–325.

6. Гадамер Г.Г. Философия и поэзия // Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 116–125.

7. Гиро П. Фюстель де Куланж. М., 1898.

8. Гревс И.М. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (Опыт истолкования души) // Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6. С. 44–81.

9. Карнап Р., Ган Г., Нейрат О. Научное миропонимание – Венский кружок // Журнал «Erkenntnis» («Познание»). Избранное / Под ред. О.А. Назаровой. М.: Изд. дом «Территория будущего», 2006. С. 57–74.

10. Марсель Г. Опыт конкретной философии. М.: Республика, 2004.

11. Мегилл А. Историческая эпистемология. М.: «Канон+»; РООИ «Реабилитация», 2007.

12. Мегилл А. Старый вопрос, поставленный вновь: существует ли моральный прогресс в истории? // «Феноменология духа» Гегеля в контексте современного гегелеведения / Отв. ред. Н.В. Мотрошилова. М.: «Канон+»; РООИ «Реабилитация», 2010. С. 650–661.

13. Ранке Л. Об эпохах новой истории. М., 1898.

14. Розенцвейг Ф. Новое мышление: Несколько дополнительных замечаний к «Звезде спасения» (1925) // Философия культуры / Под ред. С.Я. Левит. М.: ИНИОН, 1998. С. 7–27.

15. Розеншток-Хюсси О. Великие революции. Автобиография западного человека. М., 2002.

16. Солонин М. «Наука начинается там, где начинают измерять...» (Эпилог последней книги) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.solonin.org/article_nauka-nachinaetsya-tam-gde

17. Тэн И. Новейшая английская литература в современных ее представителях. СПб., 1876.

18. Тэн И. О методе критики и об истории литературы. СПб., 1896.

19. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. М., 1914.

20. Щедрина Т.Г. Архив эпохи: тематическое единство русской философии. М.: РОССПЭН, 2008.

21. Щепкин Е. Автобиография Л. Ранке // Русская мысль. 1893. Кн. VIII. С. 149–169; 1894. Кн. I. С. 41–52.

REFERENCES

1. Coulanges, F. de., 1893. Questions historiques [Historical issues]. Paris: C. Jullian. (in French)

2. Ranke, L., 1824. Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber: eine Beylage zu desselben romanischen und germanischen Geschichten [Critique of modern historians]. Leipzig; Berlin. (in German)

3. Bakhtin, M.M., 2003. <Avtor i geroy v esteticheskoy deyatel'nosti> [<Author and character in aesthetic activity>]. In: Bakhtin, M.M., 2003. Sbranie sochineniy. T. 1. Moskva: Russkie slovari, pp. 69–264. (in Russ.)

4. Bakhtin, M.M., 2003. <K filosofii postupka> [<To the philosophy of act>]. In: Bakhtin, M.M., 2003. Sbranie sochineniy. T. 1. Moskva: Russkie slovari, pp. 7–68. (in Russ.)

5. Bakhtin, M.M., 2003. K voprosam metodologii estetiki slovesnogo tvorchestva [To the methodology of aesthetics of verbal creativity]. In: Bakhtin, M.M., 2003. Sbranie sochineniy. T. 1. Moskva: Russkie slovari, pp. 265–325. (in Russ.)

6. Gadamer, H.-G., 1991. Filosofiya i poeziya [Philosophy and poetry]. In: Gadamer, H.-G., 1991. Aktual'nost' prekrasnogo. Moskva: Iskustvo, pp. 116–125. (in Russ.)

7. Guiraud, P., 1898. Fustel de Coolange. Moskva. (in Russ.)

8. Grevs, I.M., 1920. Aleksandr Sergeevich Lappo-Danilevsky (Opyt istolkovaniya dushi) [Alexander Sergeevich Lappo-Danilevsky (Experience of the soul interpretation), Russkiy istoricheskiy zhurnal, Vol. 6, pp. 44–81. (in Russ.)

9. Karnap, R., Gan, G. and Neyrat, O., 2006. Nauchnoe miroponimanie – Venskiy kruzhok [The scientific view of the world – the Vienna Circle]. In: Nazarova, O.A. ed., 2006. Zhurnal «Erkenntnis» («Poznanie»). Izbrannoye. Moskva: Territoriya budushchego, pp. 57–74. (in Russ.)

10. Marcel, G., 2004. Opyt konkretnoy filosofii [Essay of concrete philosophy]. Moskva: Respublika. (in Russ.)

11. Megill, A., 2007. Istoricheskaya epistemologiya [Historical epistemology]. Moskva: «Kanon+»; ROOI «Reabilitatsiya». (in Russ.)

12. Megill, A., 2010. Staryi vopros, postavlenyi vnov': sushchestvuet li moral'nyi progress v istorii? [Is there moral progress in history? The old Kantian question raised yet again]. In: Motroshilova, N.V. ed., 2007. «Fenomenologiya dukha» Gegelya v kontekste sovremennogo gegelevedeniya. Moskva: «Kanon +»; ROOI «Reabilitatsiya», pp. 650–661. (in Russ.)

13. Ranke, L., 1898. Ob epokhakh novoy istorii [On the epochs of new history]. Moskva. (in Russ.)
14. Rosenzweig, F., 1998. Novoe myshlenie: Neskol'ko dopolnitel'nykh zamechaniy k «Zvezde spaseniya» (1925) [New thinking: Some additional comments on the «Star of Salvation» (1925)]. In: Levit, S.Ya. ed., 1998. Filosofiya kul'tury. Moskva: INION, pp. 7–27. (in Russ.)
15. Rosenstock-Huessy, E., 2002. Velikie revolyutsii. Avtobiografiya zapadnogo cheloveka [Out of revolution: autobiography of Western man]. Moskva: Bibleisko-bogoslovskii institut im. sv. apostola Andreyana. (in Russ.)
16. Solonin, M., 2013. «Nauka nachinaetsya tam, gde nachinayut izmeryat'...» (Epilog posledney knigi) [«Science begins where they begin to measure ...» (Epilogue to the last book)]. URL: http://www.solonin.org/article_nauka-nachinaetsya-tam-gde (in Russ.)
17. Taine, H., 1876. Noveishaya angliiskaya literatura v sovremennykh eyo predstavitelyakh [English literature in its modern representatives]. Sankt-Peterburg. (in Russ.)
18. Taine, H., 1896. O metode kritiki i ob istorii literatury [On the critical method and literary history]. Sankt-Peterburg. (in Russ.)
19. Florensky, P.A., 1914. Stolp i utverzhdenie istiny. Opyt pravoslavnoi teoditsei v dvenadtsati pis'makh [Pillar and affirmation of truth. The experience of Orthodox theodicy in twelve letters]. Moskva. (in Russ.)
20. Shchedrina, T.G., 2008. Arkhiv epokhi: tematicheskoe edinstvo russkoi filosofii [Archive of the epoch: thematic unity of Russian philosophy]. Moskva: ROSSPEN. (in Russ.)
21. Shchepkin, E., 1893–1894. Avtobiografiya L. Ranke [Autobiography of Leopold von Ranke], Russkaya mysl', Vol. VIII, pp. 149–169; Vol. I, pp. 41–52. (in Russ.)